

# ИМАГОЛОГИЯ

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/24099554/11/6

**Е.Е. Дмитриева**

---

## **РУССКАЯ УСАДЬБА: СЕМАНТИКА, ТОПОС И ХРОНОС<sup>1</sup>**

---

*В статье на широком историко-литературном материале рассматривается бытование русской усадьбы как яркого порождения культуры послепетровского времени, гибель которой в 1917 г. была воспринята как эмблема наступления хаоса и торжество скифского начала. При этом понятие золотой век русской усадьбы в статье переосмыслится: уже с 1812 г. и в особенности после реформы 1861 г. усадебная жизнь начинает осознаваться как умирающая, что, однако, не исключает отдельных периодов ее ренессанса. Парадоксальным образом это возрождение наблюдается именно тогда, когда в обществе с особой силой начинает звучать панихида по усадебной культуре (1900-е гг.).*

Ключевые слова: усадьба, усадебный текст русской литературы, идиллия, эстетизация смерти, гибель усадеб, Бунин, Набоков.

Один из авторов петербургского журнала «Аполлон», вспоминая усадьбы в эмиграции, писал: «В дворянских усадьбах сгустилась вся суть русской культуры; то были интеллектуальные теплицы, в которых распускались самые красивые цветы. Из них вышли Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, наши великие писатели, наши лучшие музыканты и поэты. <...> Если русско-византийская культура проявилась в богоносной красоте икон, то эволюция нашего общества после Петра проявилась вовсе не в архитектуре Царского Села или сокровищах, собранных Екате-

---

<sup>1</sup> Работа выполнена в ИМЛИ РАН за счет средств гранта Российского научного фонда № 18-18-00129 «Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд».

риной в Эрмитаже, а в рождении очень своеобразного и ни на что не похожего мира русских усадеб» [1. С. 116].

Возможно, именно поэтому в России в начале XX в. гибель усадьбы воспринимается как гибель культуры. И Александр Блок, пытающийся примириться с сожжением библиотеки в своем имении Шахматово, не может не видеть в этом эмблемы наступления хаоса – гибель русской культуры, на смену которой приходит скифское («городское») начало.

В наше время принято говорить об усадьбе как об определенном стиле жизни, устойчивой и оптимальной для России формы человеческого бытия, где даже хозяйственная деятельность становилась для помещика не просто средством получения материальной прибыли, но попыткой создать свой идеальный мир на территории отдельно взятого имения. Усадьбу сравнивают с легендарным Китежом, собирательным образом русского духа, который «по древнему поверью <...> лишь скрылся от глаз людских, когда подошли к нему полчища татар» [2].

Надо сказать, что восторженное любование усадьбой в конце XX – начале XXI в. как русским «земным раем» несколько заслонило другой аспект усадебной жизни, который, напротив, сознательно подчеркивался в советскую эпоху: усадьба как место произвола помещиков и подчас непосильного труда крестьян. Впрочем, о нем писал уже Пушкин, определивший в стихотворении «Деревня» (по сути, маленькой описательной поэме, в которой без труда можно было узнать имение его родителей Михайловское) две стороны усадебного топоса: усадьба как «приют спокойствия, трудов и вдохновения» и усадьба как место рабского труда и разврата. Однако и первые исследователи усадьбы еще до революции обращали внимание на двойственность усадебной культуры, представив историю помещицы России как старую повесть о самодурах-помещиках, в то же время на досуге охотно занимавшихся меценатством. Так, один из первых исследователей усадеб барон Николай Врангель писал:

Странное дело, но в этой повести о прошлом какая-то особенная, может быть, только нам, одним, русским, понятная своеобразная прелесть... Пляска русских босоногих малашек и дунк в «Храме Любви», маскарад деревенских парней в костюмах богов и богинь древности. ...Что может быть нелепее и забавнее, печальнее и умнее? [3. С. 26–27].

И не случайно в начале XX в. А.П. Чехов в рассказе «Невеста» (1903), солидаризуясь более с Лопухиным, героем «Вишневого сада», вишневый сад вырубаящим, чем с хозяйкой имения Раневской, писал:

Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, – будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить [4. Т. 10. С. 219].

И все же для тех, кто собственно и составил определенные вехи в истории русской усадьбы, она означала прежде всего Дом, где люди живут (в то время как в городе – гостят). Это же отношение отражено и в известной формуле Пушкина из неоконченного «Романа в письмах»: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет» [5. Т. 6. С. 49]. Это же отношение к усадьбе всегда поддерживал и Лев Толстой.

### **Истоки и предпосылки золотого века русской усадьбы**

На самом деле, русская усадьба, которая представляется сейчас продуктом многовековой культуры, имела относительно недолгую историю: и если в историческом плане начало существования усадьбы относится к XVII в., завершаясь соответственно в 1917 г. уничтожением помещицкой России, то как явление культуры жизнь ее оказывается еще короче, замыкаясь между 1762 г. («Указом о вольности дворянской») и 1930-ми гг., поскольку как культурный феномен усадьба существует еще в сознании и творчестве русских писателей-эмигрантов.

Что же вообще называлось в России усадьбой? Само слово в повседневном обиходе имело в качестве синонимов такие понятия, как *поместье*, *имение*, реже – *вотчина*. Иногда в собирательном значении употреблялось слово «деревня». Между тем исторически подобная синонимия не совсем точна. Ибо *вотчина* – древнейший вид феодалной собственности в России, возникший еще в X–XI вв., – считалась родовой и переходила по наследству. *Поместьем* же называли земельное владение конца XV – начала XVIII в., которое предоставлялось государством за несение военной и гражданской службы

и не подлежало продаже и наследованию. Под *усадьбой* же понимался собственно комплекс жилых, парковых, хозяйственных построек (господский дом, службы, сад). Причем усадьбами – городскими или загородными – владели фактически все сословия. Даже крепостные крестьяне имели свои дома и дворы – тоже усадьбы, только миниатюрные. Для русской культуры, однако, единственно значимым оказался концепт *дворянской усадьбы*, ставший синонимом *дома* и *родового гнезда*.

В России исторически основная масса земли находилась в государственной собственности, и начиная с Ивана IV (1530–1584) дворяне вынуждены были служить государю для получения оклада, который выражался в определенном количестве земли (*поместье*). Массовое пожалование поместий в вотчину происходит при царе Михаиле Федоровиче (1596–1645). Частное феодальное владение «служилых людей по отечеству», дворянства, теперь называется *имением*. Каждое имение представляло собой замкнутый социальный организм, слабо зависимый от государственной администрации, обязанный лишь уплачивать подати и поставлять рекрутов. Помещичье имение имело обычно две составляющие: *дворянскую усадьбу* и *крестьянский двор*. При этом усадьба была частым, но не обязательным компонентом имения. В XVII в. господские дворы с жилыми постройками располагались только в половине имений (имения или поместья, тем самым, делились на усадебные и безусадебные). Но с увеличением числа имений росло и количество усадеб. К середине XVII в. в России насчитывалось около 21 тысячи усадеб, к середине XVIII в. – 63 тысячи [6. С. 5–17].

Проблема, однако, заключалась в том, что в России до середины XVIII в. не существовало юридической неприкосновенности недвижимого имущества. Государева опала означала, прежде всего, лишение виновного права собственности. Земли, недвижимое имущество отбирались в казну, о правах наследников при этом никогда не вспоминалось (достаточно вспомнить судьбу светлейшего князя А.Д. Меншикова, фаворита Петра I).

Особенно осложнилась ситуация при Петре I, который распространил обязанность постоянного пребывания в армии и государственных учреждениях на все служилое сословие. Создалась парадоксальная ситуация, когда дворяне были лишены возможности хо-

зайствовать в своих усадьбах. Кроме того, Петр I (1672–1725) заменил жалованье в виде поместного оклада за военную или гражданскую службу денежным вознаграждением, и дальнейший доступ дворян к земельному наделу был закрыт. Это не значило, что государственные земли перестали переходить в частные руки, но теперь их получали главным образом родственники и фавориты царя. В этих условиях строительство усадеб могли себе позволить единицы, вроде графов Разумовских, Шереметевых. И все же, как считал русский историк Николай Карамзин, именно с петровской эпохи начинается иное отношение к жизни в имении:

Старинные русские бояре не заглядывали в деревню, не имели загородных домов и не чувствовали ни малейшего влечения наслаждаться Природою (для которой не было и самого имени в языке их) <...> Только при Государе Петре Великом знатные начали строить дома в Подмосковных; но еще за сорок лет перед сим русскому дворянину казалось стыдно выехать из столицы и жить в деревне [7. С. 142].

В 1714 г. принимается закон о майорате (неделении наследуемой земельной собственности). Впрочем, в реальной жизни он часто не соблюдался, а в 1730 г. был вообще отменен. Вот почему подавляющее большинство русского дворянства, многократно поделив наследственные вотчины, к середине XVIII в. осталось практически безземельным.

Необходимость изменения сложившейся ситуации была осознана Екатериной II практически сразу после вступления на престол. Жалованная грамота 1762 г., объявившая «Вольность и свободу» российскому благородному дворянству, юридически закрепила за ним и право собственности на недвижимость. Теперь за совершенное преступление дворянина можно было лишить свободы и даже жизни, но не собственности. Осознание того, что принадлежащая помещику земля и все, что на ней построено, никогда не будет отнято, коренным образом изменило культуру хозяйствования. С этого времени начинается массовое возвращение дворянства в свои наследственные вотчины. Появляется большое количества рядовых «средних» дворянских усадеб. Как писал А.Т. Болотов, один из первых теоретиков, но также и практиков усадебного строительства, «сей славный манифест произвел во всем государстве великое потрясение умов и

всех владельцев деревенских заставил мыслить, хлопотать и заботиться о всех своих земельных дачах и владениях» [8. С. 157].

В систему усадьбы входят теперь не только барский дом и сад, но и оранжереи, фермы, птичники, конские заводы, плотины, мельницы. В этот же период в крупных имениях стали появляться зачатки промышленного производства – винокуренные, медные плавильные и кирпичные заводы, суконные фабрики, лесопильни. Экономический уровень усадеб часто превосходил в это время экономический уровень уездных городов. Усадебное строительство, которое велось в этот период, повлияло и на административную организацию дворянского имения. Теперь сюда включается штат *дворовых людей*, тоже крепостных, но состоящих непосредственно при усадьбе (в отличие от крестьян, обрабатывающих землю). Развивается институт управляющих и приказчиков, который был оправдан тем, что хозяева имений (особенно крупных) были нередко жителями столиц и могли подолгу отсутствовать в своих вотчинах. Одновременно в усадьбах развиваются искусства и ремесла: крепостные мастера, наряду со специально выписываемыми заграничными мастерами, выполняют заказы на усадебные постройки, живописные портреты членов семьи, мебель. Из среды крепостных крестьян выходят многие известные художники, архитекторы, певцы, музыканты, актеры.

### Россия или Европа?

Именно с 60-х гг. XVIII в. складываются основы усадебного быта и усадебной культуры. С самого начала усадьба претендует на то, чтобы быть пространством культуры, но в естественном, природном ландшафте. Но и как культурное пространство усадьба обладает внутренним дуализмом: она предстает как одновременно Европа и вместе с тем Россия, и потому ориентация на западные образцы и их последующая ассимиляция являют собой в усадьбах часть осознанной идеологической программы.

Если в Петровскую эпоху и вплоть до середины 1770-х гг. сохраняется традиция наречения усадеб, дач, резиденций немецкими именами (так, первые резиденции великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны получили соответственно названия *Paullust* – Павлова утеха, и *Marienthal* – Марьяна долина),

то со второй половины XVIII в. усадьбам начинают давать французские названия. Великий князь Петр Федорович дачу близ Ораниенбаума, предназначавшуюся для его фаворитки кн. Е.Р. Воронцовой, назвал *Sans Ennui*. Фаворит Екатерины II гр. И.И. Шувалов дарованную ему деревню Шуваловку переименовал в *Poésie*. Петербургская дача Алексея Б. Куракина имела название *Mes Délices*. Впоследствии французские (и немецкие) названия усадеб русифицировались (*Sans Ennui* превращалось в *Нескучное*, *Кинь-Грусть*, *Mes Délices* – в *Отраду*, *Раек* и т.д.) и порой приобретали ложную этимологию, часто смешную, что нашло широкое отражение в художественной литературе и мемуаристике. Так, Ю.А. Бахрушин уже в начале XX в. напишет о подмосковном имении со странным названием *Момыри*. «После тщательного расследования филологии этого слова мне удалось установить, что эта деревня приобретена и обстроена какой-то любвеобильной помещицей в начале 19 века, подарена мужу и соответственно названа ей “А mon mari”. Крестьяне быстро упростили сложное наименование несколько непонятным, но более легко произносимым “Момыри”» [9. С. 624].

С 60-х гг. XVIII в. в России ощущается потребность в образцах усадебных парков, которые приходят на смену огородам, до того разбившимся непосредственно перед усадебным домом (вариант: кустам смородины). При этом ассимиляция и смена основных европейских садовых стилей в усадьбах происходит в крайне короткий срок: если в 1760-е гг. в русских имениях разбиваются регулярные (французские, или, как их еще называли, голландские) парки, то уже с 1770-х гг. начинает утверждаться мода на нерегулярный пейзажный стиль – англо-китайские сады). Но французский парковый стиль сохраняется в усадебной садовой архитектуре еще очень долго, вплоть до конца XIX в. и, как «старый», традиционно почитается хоть и смешным, но «своим». Еще М.Е. Салтыков–Щедрин высмеял в «Пошехонской старине» версальскую моду в усадьбе Малиновец, где проживает его герой Никанор Затрапезный:

Так как в то время существовала мода подстригать деревья (мода эта проникла в Пошехонье... из Версаля), то тени в саду почти не существовало, и весь он раскинулся на солнечном припеке, так что и гулять в нем охоты не было [10. С. 11–12].

Также и архитектурные ансамбли эпохи классицизма екатеринского царствования отвечали изначально стремлению строить загородные дома «во французском вкусе», с их обязательным компонентом – круглым или овальным залом, именуемым «залом Людовика XVI». Их архитектура восходила к эстетике Малого Трианона в Версале. Широкой популярностью в загородном усадебном строительстве пользовались и проекты французского архитектора Ж.Ф. Неффоржа, которые развивали «тему палладианских дворцов на гальский лад» [11]. Пример такого строительства – Старов дворец кн. А. Бобринского в Тульской губернии, дворцы в Богородицке и Бобриках, Вяземы и усадьба Зубриловка С.Ф. Голицына и пр. Но интересно, что подобные палладианские застройки сохранялись и воспроизводились в русской усадьбе на протяжении всего XIX века. И эта верность традициям, во второй половине столетия проявлявшая себя как анахронизм, составила, тем не менее, одну из особенностей русской усадебной культуры [12. С. 23].

Однако с течением времени Версаль на русский лад все более представляется откровенным чудачеством. У Н.В. Гоголя в «Мертвых душах» тяготение к европейскому образцу становится эмблемой тайного безумия русской жизни. Как странное переосмысление ампирической эстетики предстает в поэме усадьба Манилова. Еще более фантазмагорическим смешением элементов западного замка и русской избы выглядит дом Плюшкина:

Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно <...> на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся... [13. Т. 6. С. 112; 14].

Вновь заимствования и эклектизм актуализуются в русском усадебном сознании как положительный знак универсализма в эпоху символизма. Именно в это время эклектичная комбинация разных архитектурных стилей – боярского терема, рыцарского замка, швейцарского шале и прочих – не только становится «комбинацией, привлекательной для символистской эстетики» [15. С. 327], но выражает собой, в первую очередь, потребность России в приобщении к универсальной истории. Как пишет исследовательница, «в те годы в ландшафты России вплелось множество усадеб, облик которых в той

или иной степени напоминал феодальные замки Франции и Англии. <...> Русскому помещику, сидевшему в своем замке посреди рязанских, тамбовских или владимирских лугов и перелесков, вероятно, приятно было воображать себя английским лордом или французским графом, а свой замок – надежным родовым гнездом» [15. С. 331–333].

### После золотого века

С ретроспективной точки зрения принято распространять золотой век русской усадьбы не только на царствование Екатерины, но и Александра I и даже Николая I, доводя его до крестьянской реформы 1861 г. Однако если судить по мемуарам и свидетельствам современников, то о спаде усадебной жизни заговорили гораздо раньше. Сначала на субъективном уровне ушедший из усадьбы праздник создал ощущение пустоты. В 1812 г. сюда добавились и более объективные исторические и социально-экономические причины, связанные с войной 1812 г. (запустение, воцарившееся в загородных поместьях, особенно в тех местах, где побывали войска Наполеона).

Переломным моментом в истории русской усадебной культуры стала реформа 1861 г., которая уничтожила безграничную власть помещика и предоставила крестьянам освобождение от крепостной зависимости. После отмены крепостного права земля стала товаром для лиц «всех состояний», а имения и усадебные дома могли продаваться, отдаваться в аренду и залог (яркие тому примеры – продажа Львом Толстым старого усадебного дома на вывоз, продажа усадебного флигеля в имении поэта Батюшкова Хантонова крестьянину Егору Максиму и т.д.) [16. С. 123]. Данная ситуация становится одним из излюбленных сюжетов живописи 1870–1880-х гг.: картины И. Крамского «Осмотр старого дома» (1873), В.Н. Максимова «Все в прошлом» (1887). Процесс этот лишь усилился в конце XIX века, будучи связан с дальнейшим разорением дворянства.

И все же действительное ощущение разрушения усадебной культуры, разложение родовых основ было по-настоящему прочувствовано в 1905 г., в эпоху Первой русской революции, спровоцировавшей бессмысленные варварские разрушения усадеб. В 1917 г. в докладе, посвященном революции 1905 г., В.И. Ленин сказал:

Крестьяне сожгли до двух тысяч усадеб <...> К сожалению, крестьяне уничтожили только пятнадцатую долю общего количества дворянских усадеб, только пятнадцатую часть того, что они *должны* были уничтожить... [17. С. 327].

Однако и уничтоженных усадеб было достаточно, чтобы поднять вопрос о гибели усадебной культуры как гибели русской культуры вообще. В этом смысле поворотной стала дата 4 марта 1905 г. В этот день в Таврическом дворце в Петербурге открылась историко-художественная выставка русских портретов, организованная С. Дягилевым. Выставка имела колоссальный успех. Однако уже 24 марта на обеде, устроенном по случаю его приезда в Москву, он выступил с речью, которая, казалось бы, перечеркивала все его начинания.

Не чувствуете ли вы, что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убедительный итог, подводный блестящему, но увя, омертвелому периоду нашей истории... Я заслужил это право сказать громко и определенно, так как с последним дуновением летнего ветра, я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, так явно далеких от нас, но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы [18. С. 46–47].

Речь Дягилева прозвучала как панихида усадебной культуре. Но, поразительным образом, и сама выставка, и произнесенная по ее поводу речь окончательно оформили те пассажиристические настроения, которые и до того уже существовали в русском обществе, а прочувствованное и Дягилевым, и его современниками ощущение реального разрушения усадебной культуры способствовало воскрешению усадебной темы в общественном сознании. Те, кто готовил выставку (Н. Вейнер, Н. Врангель, В. Аргутинский), объединились вскоре в журнале «Старые годы» (издавался в 1907–1916 гг.). В каждом его номере появлялась рубрика «Хроника вандализма», которая содержала информацию обо всех видах разрушения памятников старины.

В 1914 г. учреждается также журнал «Столица и усадьба», по заданию которого совершил свой знаменитый объезд провинциальной

России еще один исследователь русской усадьбы Г.К. Лукомский. Поездки по помещичьим усадьбам в поисках старинных книг, рукописей, картин и других произведений искусства, которым грозит уничтожение, становятся приметой времени. Среди тех, кто совершил подобного рода путешествия, – историк и библиофил С.Р. Минцлов, описавший свою поездку в книге «За мертвыми душами», парафразе гоголевской поэмы (только теперь в качестве «мертвых душ» выступали сами обветшавшие усадьбы, «молчаливые свидетели прошлого»).

Таким образом, в первые два десятилетия XX в. тенденция разрушения усадеб непосредственно соседствует с ностальгией по уходящему в прошлое усадебному миру. Но самое поразительное, что то, что в литературе и публицистике осмысливается в это время как гибель усадебной культуры, в реальности оказывается еще одним, хоть и кратким, но все же периодом ренессанса, который ей предстоит пережить. В дворянских имениях, перешедших в руки купцов-меценатов (как, например, братья Рябушинские), активно начинают строиться усадебные комплексы – в соответствии с новыми вкусами. Вообще отрицательная оценка происходивших после 1861 г. изменений в русской усадебной культуре, трактовка их как вырождение, получила распространение на рубеже веков в трудах деятелей «Мира искусства» (Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский, Врангель, Лукомский), способствовавших рождению усадебного мифа как составляющей мифа о золотом веке русской культуры. В основе их взглядов лежало увлечение русской художественной культурой эпохи классицизма, и потому усадебное строительство, которое имело место в начале XX в., словно прошло мимо их внимания либо резко критиковалось. Так, Лукомский драматично оценил ситуацию в усадебной архитектуре, которую сейчас, однако, принято расценивать как русский модерн: «...стали налеплять картуши к чудесным ампирическим домам <...> на творения Камерона, Кваренги, Львова стали надевать убор немецкого ренессанса или французских Людовиков» [12. С. 327]. А между тем это было также и время «неорусского» движения в усадьбах, строительства усадебно-дачных комплексов в Абрамцево, Талашкино, воссоздававших мир русской сказки, перенесенный в усадебное пространство [19. С. 182].

### Жизнь после смерти

Греза о новой красивой жизни окончательно развеялась в 1917 г. В огне Октябрьской революции усадебная Россия уничтожалась тотально. Даже память о ней, по мысли ее разрушителей, должна была умереть. Многие усадьбы были сожжены и разгромлены. Крестьянин А.Т. Котов в 1925 г. так отвечал на вопрос «Крестьянской газеты»: «Кто не успел уехать, тех настигла карающая рука крестьян – князь Лобанов был помещен в сычевскую тюрьму, княгиня Голицына убита в своем имении, Безобразов уморен голодом в Сычевской тюрьме». Другой крестьянин писал: «...в помещичьих парках... также была революция: его пилили, рубили» [20. С. 123].

Определенным шансом на спасение усадьбы в послереволюционные годы становятся получение охранной грамоты (отсюда пошло и название первого романа Б. Пастернака), а также национализация. Ряд усадеб преобразуется в это время в музеи. Как правило, речь идет о «достойных внимания» архитектурно-художественных ансамблях (Петергоф, Павловск, Останкино, Кусково, Архангельское) и так называемых литературно-художественных гнездах – усадьбах, принадлежавших деятелям русской культуры: так сохраняются усадьбы Лермонтова, Толстого, Мусоргского, Пушкина в Болдино, а в 1927 г. восстанавливается сожженная усадьба Пушкина в Михайловском. Не разрушенные во время революции имения передаются под разные учреждения: санатории, психиатрические больницы, колонии для малолетних преступников и, соответственно, перестраиваются. В некоторых из них устраиваются так называемые музеи помещичьего быта, что нашло отражение в целом ряде художественных текстов 1920-х гг. («Мирская чаша» М. Пришвина, 1922, «Ханский огонь» М. Булгакова, 1923) [21].

Казалось бы, в истории усадебной культуры на этом можно было бы поставить точку. Однако 1990-е гг. знаменуют еще один этап гибели усадебной культуры и, как теперь представляется, уже окончательный. Перестройка и экономические реформы последнего времени сказались на судьбах тех усадеб, которые еще продолжали хоть какое-то существование в виде санаториев, детских домов и школ: освобожденные в благих целях для последующей реставрации, они очень быстро оказались покинуты – за неимением средств, и оста-

лись на произвол грабителей. По всей стране мы встречаем теперь остовы усадебных домов с проваленными кровлями, упавшими колоннами и разоренными печами, зарастающие старинные парки с прудами, в которых вместо лебедя плавает проржавевший чайник. Формально на них продолжают висеть таблички «Памятник архитектуры. Охраняется государством».

Однако, как и в 1920-е гг., физическое исчезновение усадебных ансамблей приводит к новому всплеску интереса к усадебной тематике. Так, в 1992 г. возобновлена деятельность Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ), созданного еще в 1922 г. и просуществовавшего восемь лет (большинство его участников уже в конце 20-х гг. попали в лагерь и были расстреляны<sup>2</sup>). И то и другое общество возникают на излете усадебного быта и ставят задачу не только его изучения, но и в определенном смысле воскрешения: создание легендарного континуума на фоне исторического дисконтинуума существования русской усадьбы. Усадьба становится объектом междисциплинарного подхода историков, литературоведов, краеведов, культурологов, архитекторов, но также и сферой приложения массовой культуры. Краткие экскурсии в историю усадебной культуры и формулировки вроде «Будни помещика: живем в усадьбе, строим конюшню, заботимся о пейзажном парке», появляющиеся в многочисленных «глянцевых» журналах, свидетельствуют о том, что в настоящее время тема усадьбы входит и в поле зрения изданий типа life-style [22. С. 348], но на этот раз уже в контексте реального «помещичьего быта» «новых русских».

### Усадебный текст русской литературы

Русскую классическую литературу вообще можно охарактеризовать во многом как усадебную. Большинство писателей – и это справедливо не только в отношении первой половины XIX в., но даже и более позднего, демократического и разночинского периода – принадлежали к дворянскому сословию, и опыт жизни в усадьбе был во

---

<sup>2</sup> В 1992 г. в лагере на Соловках была обнаружена рукопись первого председателя ОИРУ Алексея Греча «Венок усадьбам», изданная в 1994 г. в качестве специального номера альманаха «Памятники Отечества» (1994).

многим основой их бытийного опыта. Можно также сказать, что и многие произведения русской литературы были написаны в усадьбе и глубоко проникнуты опытом деревенской жизни. Это и «Евгений Онегин», и «Повести Белкина» Пушкина. Сам он, будучи уроженцем Москвы и жителем Петербурга, в русском сознании остается связанным прежде всего с деревней: имением своих родителей в Михайловском, где он провел три года ссылки, и другим имением родителей Болдино, где, задержавшись по причине холерной эпидемии, он пережил в 1830 г. небывалый расцвет творчества, вылившийся в целый ряд произведений, давших этому краткому периоду название «болдинская осень». Вспомним также Ивана Тургенева, с легкой руки которого в русскую культуру вошло понятие *дворянского гнезда* (по названию одного из его романов). Проведя большую часть своей жизни за границей, он остается переполненным воспоминаниями об усадебной жизни, в том числе в имении своей матери Спасском-Лутовиново, которое становится воображаемым топосом многих его романов («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»). Лев Толстой проводит большую часть своей жизни в Ясной Поляне, где были написаны романы «Война и мир», «Анна Каренина», действие которых частично разворачивается в усадьбах, в которых читатели узнавали в том числе и черты Ясной Поляны.

Однако интересно, что даже писатели, биографически наиболее удаленные от жизни в усадьбе, постоянно к ней возвращаются. Наиболее разительный пример – возможно, Гоголь. Сын украинских помещиков, проведший свое детство в родовом имении Васильевке на Украине, в дальнейшем он делит свою жизнь между Москвой, Санкт-Петербургом и Европой. А между тем, свое самое великое произведение, поэму «Мертвые души», которую он пишет большей частью в Риме, он помещает в пространство русских усадеб, отправляя главного персонажа Чичикова странствовать из одной помещицкой усадьбы в другую в поисках мертвых душ. Другой случай – Антон Чехов, из мещанской семьи, казалось бы, с усадебным бытом ничего общего не имеющий, тем не менее остается всю жизнь под обаянием и почти наваждением помещицкой жизни. В усадьбах же разыгрывается действие многих его рассказов и большей части драм («Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и др.). Сам он в конце жизни

покупает небольшое имение подле Москвы, Мелихово, где реализует свои фантазмы одновременно литератора и садовника.

Вообще же усадьба становится объектом описания русской литературы с конца XVIII в., и с этого же времени правомерно говорить о появлении усадебного текста русской литературы (по аналогии с Петербургским текстом русской литературы [23]). Поначалу это происходит в поэзии. В России, как и в Европе, в это время эпоха сентиментализма породила ряд текстов, прославлявших радости сельского бытия в противовес искусственности городской жизни. Поначалу панегирик сельской жизни, в основе которого нередко лежал опыт собственной жизни в имениях, оформлялся в поэтических текстах, бывших переводами-подражаниями одам Горация. Такова, например, ода М.М. Хераскова «Искренние желания в дружбе», стихотворение Василия Капниста «Обуховка», описывающее его имение и бывшее на самом деле переложением оды 18 из второй книги Горация. Параллельно появляются и оригинальные описания имений: «Евгению. Жизнь Званская» Гавриила Державина, «Суйда» В.Л. Пушкина (дяди Пушкина); «Послание к Юдину» А.С. Пушкина (1815), где содержится описание ганнибаловского имения Захарово.

С конца XVIII в. материальное существование усадьбы вообще теснейшим образом связано с литературой: реальное усадебное пространство порождает тексты и жанры литературы, но и в свою очередь литература формирует усадебный быт и сам способ проживания в усадьбе. Роль литературы в усадебном быту проявляется в создании хроники усадебного (паркового) пространства – сочинении текстов «на случай» всех жанров: «приглашений в усадьбу», «прощаний с усадьбой при отъезде», альбомной поэзии, связанной с определенными парковыми постройками), в создании «парковых программ» и «путеводителей по усадьбе». Яркие примеры такого рода текстов – «Прогулка в Савинском» И.М. Долгорукого, в котором масонское имение Лопухина описывается как «экстракт вселенной»; «Надписи в стихах к просекам, дорогам и храмам в Англиском саду его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина» Т. Троепольского; «Мои Пенаты» К.Н. Батюшкова с описанием имения Олениных; «Пиры» Е.А. Баратынского, центральным эпизодом которого становится описание родового дома Баратынских в тамбовской усадьбе Мара; знаменитое пушкинское «Здравствуй Вульф,

приятель мой! Приезжай ко мне зимой...», написанное в Михайловском в 1825 г. в ожидании приезда Алексея Вульфа, сына его соседки по Тригорскому, бывшего в то время студентом Дерптского университета.

Особым жанром, который формируется в усадебной литературе с 60-х гг. XVIII в., становятся пьесы, не просто написанные для усадебного театра, но и разыгрывающие тематику усадебного пространства. Их действие, как правило, происходит на фоне усадебного парка / сада, мыслимого как универсум «парадиза». К их числу относятся «Тщетная ревность, или Перевозчик кусковский» В. Колычева, сыгранная летом 1781 г. в имении Шереметева Кускове; интермедия «Les adieux des Nymphes de Pavlovsky» Ф.Г. Лафермьера, пастушеская мелодрама Г.Р. Державина «Обитель Добрады», в которой, по моде того времени [24. С. 5], был изображен условный Павловск; пьеса «Только для Марфина», которую играли в 1801 г. в подмосковной усадьбе Марфино в честь дня рождения графа И.П. Салтыкова, тогдашнего владельца усадьбы. Один из поздних вариантов усадебного театра в пространстве усадьбы – пьеса Николая Евреинова «Красивый деспот» (1906), действие которой происходит в усадьбе 1904 г.: ее хозяин в начале века двадцатого «играет» в начало девятнадцатого века, строя каждый свой день по дневнику своего прадеда, чью роль он хотел сыграть в этом усадебном сценарии [25].

### Усадебная любовь

Одной из основных констант воображаемого (*imaginaire*) усадьбы является любовь. Что и не удивительно, поскольку сад уже с древнейших времен предстает как пространство любви [26]. Однако на фоне западной теории и практики садовой любви русская усадебная любовь отличается поразительным целомудрием и вместе с тем особой «литературностью», всю меру которой можно оценить, лишь понимая, в каком густом поле чувственности она развивалась.

В русской поэзии XVIII – начала XIX в. «усадебная любовь» проявляется еще преимущественно в двух формах – либо как условно-поэтические любовные утехы, которые герой вкушает на лоне природы в обществе столь же условных харит, граций, Леил; либо как любовь семейная, супружеская. Наиболее яркий пример такого ро-

да – державинское описание деревенской жизни в Званке в стихотворении «Евгению. Жизнь Званская», где приметой усадебной жизни становится как раз «Довольство, здравие, согласие с женой...».

Новый поворот теме задает Пушкин. Отталкиваясь от условной поэтической формулы: явление музы в уединении поэта (которым для самого Пушкина стало его пребывание в Михайловском), он превращает музу в видение «уездной барышни» на конце аллеи парка (стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне», 1825). Подобная рифмовка «барышни уездной» и музы выявляет новый аспект темы: любовь в пространстве усадьбы предстает отныне прежде всего как любовь воображения. Характерно, что в реальной жизни Пушкина (периода Михайловской ссылки) любовная игра с уездными барышнями становится ранней формой его литературного житнетворчества [27. С. 19–134]. Самый яркий «усадебный роман» михайловской ссылки Пушкина, если судить по его стихам, – с Анной Петровной Керн, прогулка с которой по липовой аллее в Михайловском пробудила к жизни «Я помню чудное мгновенье». Но романа тогда как раз и не было. Действительно же имевший место роман с Ольгой Калашниковой был литературно бесплоден.

Роман «Евгений Онегин», очень быстро ставший, говоря современным языком, культовым произведением, со своей знаменитой сценой свидания Евгения и Татьяны в аллее парка, закрепил еще одну литературную мифологию: мотив усадьбы как места ожидания и предвкушения любви, впрочем, неудавшейся. В этом смысле Тургенев с его усадебными романами лишь развил те тенденции, которые были намечены уже у Пушкина. Однако в читательском сознании именно начиная с Тургенева усадебный сад наполняется девушками в белых кисейных платьях, ждущими своего суженого. Причем суженый гость приезжает в усадьбу, как правило, для того, чтобы возмутить покой его обитателей (в особенности – *одной* из обитательниц), пережить, возможно, единственный, высший момент своей жизни, заставив свою избранницу также пережить наивысшее напряжение духовных сил, а затем уехать, возвратив все на круги своя. Классический тому пример – «Рудин». Собственно, именно этой своеобразной схемой обязана русская литература И.С. Тургеневу, навсегда закрепившему за представлением об усадьбах картины

не просто свиданий в темных аллеях, но еще и истории испорченных rendez-vous. Мотив этот в конце XIX – начале XX в. с особой силой прозвучит в драматургии Чехова и новеллистике Бунина. Последний, взяв однажды за основу гоголевский прием объезда усадеб в поэме «Мертвые души», придаст ему вполне тургеневские очертания. Так возникает его рассказ «Натали». Описывая в «Происхождении моих рассказов» его генезис, Бунин пояснял:

Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое [28. Т. 9. С. 370].

В этом же ключе следует отчасти понимать и блоковское стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», посвященное его будущей жене Любови Дмитриевне Менделеевой, а в тот момент – его соседке по усадьбе. «Предчувствие» поэта связано не только с мистическим откровением молодого символиста (как это обычно трактуется), но и с вполне конкретным усадебно-любовным бытом юного помещика. В последнем сам Блок однажды почти признался в не отосланном письме к Любови Дмитриевне, оценив свою любовь к ней как усадебный роман, столь же неизбежный, сколь и обреченный в своей неизбежности:

Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбиться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же [29. С. 52].

И это же «литературность» усадебной любви получает драматическую развязку в реальной жизни А.А. Блока. Недаром Л.Д. Менделеева вспоминала позднее свой «усадебный роман», сокрушаясь, что ни единожды в ее отношениях с женихом высокая литературная история любви не стала живым, нелитературным переживанием:

Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но в сущности – одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. ...И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролив-

шую свой тонкий аромат так же напрасно, как и этот благоуханный день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах [30. С. 121].

Об этом свойстве усадебной любви немало размышлял Бунин. Уже в эмиграции он в своем усадебном цикле «Темные аллеи» с небывалой силой изобразил в целом ряде новелл умозрительность усадебной любви, где самое основное происходит в сознании, а не наяву. Так, на «мудром» желании юной героини не испортить реальностью любовь, уже пережитую в воображении, строится «Заря всю ночь» (1902/1926), где героиня настолько интенсивно переживает в летнюю лунную ночь свою любовь в преддверии жениха, что когда тот появляется на следующее утро, она ему отказывает. Ибо самое главное ею уже пережито.

С этим рассказом рифмуется и набоковский роман «Машенька» (1926), фабульная неэтичность которого слишком уж вписывается в генетическую память усадебной любви воображения (герой, напоив мужа Машеньки, в которую он когда-то, в их усадебном дореволюционном прошлом, был влюблен, в последний момент отказывается встретить ее на вокзале, оставив одну в чужом Берлине). Собственно, вся повесть и строится на воспоминании об усадебной любви, которая в сознании Ганина живет, чем та реальная история, что произошла в усадьбе, и будущая возможная история, ставшая для него невозможностью.

### **Мечта о рае или рай мечты**

Мишель Серто по поводу «Сада наслаждений» Иеронима Босха сказал однажды: «Надо было потерять рай, чтобы превратить его в текст» [31. С. 71]. Кажется, история русских усадеб – это и есть история постепенной утраты чувства рая. Но, поразительным образом, чем более это чувство утрачивалось, тем интенсивнее оно переводилось в текст, будь то литературный или живописный.

В русской литературе тема усадебной Аркадии (усадебного рая) является, можно сказать, почти константой начиная с середины XVIII в. и вплоть до середины XX в., сохраняясь еще и в эмигрантской прозе. Одно из наиболее ранних в русской литературе сравнений усадебного сада с Эдемом мы находим у М.В. Ломоносова

(«Ода, в которой Ее Величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость»); правда, здесь речь идет о царской резиденции в Царском Селе. А.А. Ржевский сравнивает с золотым веком вполне скромную усадьбу поэта и масона М. Хераскова («Станс. Сочинен 1761 года июля 19 дня по выезде из деревни г...Х...»). «Эдема сколок сокращенный» назовет И. Долго-рукий Кусково («Прогулка в Кускове»).

О «славянском рае» усадьбы в начале XX в. говорят герои Г. Чулкова и Ф. Сологуба. «За грош купили угол рая Неподалеку от Москвы», – напишет А. Блок в поэме «Возмездие» (1910–1921) о покупке его семьей имения Шахматово. Но удивительное дело: в русской литературе (впрочем, если быть точным, то и не только в русской – вспомним программный роман Francesco Colonna «Сон Полифила», 1499) рай, Эдем, Аркадия уж слишком часто рифмуются со сном и мечтой, которые, в свою очередь, коррелируют с ничегонеделанием и ленью. Державин, как ни воспевал сельский труд в усадебной Аркадии, все же не раз предпочел ему сонную мечтательность: «Но ты умен – ты постигаешь, / Что тот любимец лишь небес, / Который под шумок потока / Иль сладко спит, иль воспевает / О боге, дружбе и любви» («Гостю», 1795)». Впрочем, и Пушкин в деревенских главах «Евгения Онегина» (1824–1825), кажется, превыше всего поставил блаженное ничегонеделание: «И *far niente* мой закон».

Гоголь в повести «Старосветские помещики» (1835) создает своеобразный вариант малороссийской Аркадии, населяя ее современными Филемоном и Бавкидою – Пульхерией Ивановной и Афанасием Ивановичем, пребывающими в «дремлющих и вместе с тем гармонических грезах». Поразительная находка Гоголя заключается в том, что странная мечтательность старосветских помещиков, позволяя им прозреть свой рай, повергает их в то же время в состояние неподвижности, сродни бесовскому наваждению, нападающему и на других гоголевских героев. И тогда получается, что Аркадия, рай, прозреваемые в состоянии сна, мечтательности, предполагают страшную остановку во времени, что почти предвещает проблематику великого романа Гончарова «Обломов» (1859).

Вместе с тем уже на исходе усадебной жизни и усадебного Эдема именно возможность беспечности, ничегонеделания и даже останов-

ки во времени осознается и как величайшая привилегия исчезающего Рая. В этом смысле очень показателен чеховский «Дом с мезонином»: для героя этого рассказа именно идея «высокой бесполезности» усадебного быта, его отрешенности от злобы дня и составляет ее высокую сущность:

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою [4. Т. 9. С. 179].

### **Антиаркадия: смерть усадьбы и смерть в усадьбе**

Вообще усадьба – самое парадоксальное пространство, какое только можно себе представить: странная смесь природы и искусственности, приюта и угрозы, от него исходящей, имитации блаженных островов и острого осознания их иллюзорности. Место идиллическое, оно предстает вместе с тем и как обитель смерти, где время, казалось бы, прямо на глазах созерцателя перетекает в вечность. Любопытно, что та реальная гибель усадебного мира, что произошла в 1917 г., архитектурно и литературно уже была подготовлена всем предшествующим развитием усадебной культуры. А идиллическое место, *locus amoenus*, изначально было наполнено страхами и страшными местами.

В этом смысле русские усадьбы с самого начала вписывались в общую для европейских садов тенденцию: установка на идиллию (*et in Arcadia ego*) обретала в них смысл противоположный – смерти, которая также побывала в Аркадии [32]. С середины XVIII в. дворянские усадьбы, подобно европейским паркам, наполняются руинами, кенотафами и гробницами. Тенденция эта в русском усадебном строении характеризует прежде всего масонские усадьбы (Монрепо Николаи, Савинское Лопухина и т.д.), что, однако, не делает это фактом исключительным, поскольку в конце XVIII – начале XIX в. большинство хозяев крупных усадеб, представлявших также

и историко-архитектурный интерес, были так или иначе связаны с масонскими кругами. Однако постройка в усадьбах некоторыми владельцами для себя усыпальниц (явление совершенно естественное в Европе, но не в России, где традиционно хоронили при церквях и монастырях), еще длительное время воспринимается с недоумением.

Так, когда друг Пушкина, блистательный дипломат Николай Кривцов, проведя длительное время в Англии, возвращается в свое имение Любичи и строит там себе часовню-усыпальницу, друзья его с грустью шутят, что он «построил себе гроб, и в один год поседел как лунь» [33. С. 723]. Бывали случаи, когда тенденция превратить усадьбу в усыпальницу приобретала в русских условиях и вовсе анекдотический характер. Известен, например, случай, имевший место в масонской усадьбе в Ретяхах, где в усадебном парке торжественно погребалась слава Наполеона.

Враг кровопролития и тем самым кровавого завоевателя Бонапарта, сенатор Лопухин отметил и это событие оригинальными монументами в своем орловском имении. Вряд ли узнал когда-либо Наполеон, что слава его навеки погребена по сторонам дерева на берегу пруда в Ретяхах под двумя камнями при церемонии, едва ли не кажущейся теперь недостойнейшей буффонадой. <...> Хозяин бросил на камень горсть пеплу и произнес сакраментальные слова: «Слава твоя и в прах возвращается», – ракета прорезала темноту полуночного неба, подав сигнал к пальбе из мортир. Ничего, верно, не понявшие в этой странной церемонии крестьяне получили 500 крестиков... [34. С. 133–135].

Однако как бы не моделировали смерть в усадьбе, какие бы игры в смерть не устраивались в ней, будь то в форме гробниц, кенотафов, реальных или искусственных руин, торжественных и странных похорон, важно то, что сама усадьба с принадлежащим ей парком осмыслялась как пространство смерти, руина, запустение, умирание – и именно в этом образе входила в литературу.

Одно из первых описаний погибшей или погибающей усадьбы в русской литературе мы находим в стихотворении Г.Р. Державина «Развалины» (1797), где Царское село (тоже усадьба, хоть и царская) предстает как сплошная руина. Но и свою собственную усадьбу Званка Державин, как ни любил, все же увидел в ее грядущем разорении и

запустении. И это – в стихотворении «Евгению. Жизнь Званская», известном еще и как своеобразный дифирамб усадебной жизни:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,  
Не вспомняется нигде и имя Званки.

В этом контексте становится понятным и возникающий диалог со временем, то есть со смертью в стихотворении Жуковского «Славянка» (1815), перипатетической элегии, посвященной Павловску: поэт, прогуливаясь по летней резиденции Марии Федоровны, фиксирует особое внимание на гробницах и мавзолеях («Все к размышлению здесь влечет невольно нас; / Все в душу томное уныние вселяет; / Как будто здесь она из гроба важный глас / Давно минувшего внимает»). Конечно, перечисленные случаи можно было бы отнести к сфере медитативной лирики, объяснив тематическую константу «*memento mori*» законами жанра. Но вот пример иного рода: И.С. Тургенев, известный «певец родовых гнезд», который, казалось бы, только и вводит тему дворянской усадьбы в русскую литературу, уже описывает усадебную жизнь во многом как жизнь угасающую, жизнь в прошлом. В «Дворянском гнезде» появляется своего рода имение-призрак, с вялыми мухами «с белой пылью на спине», с уходящей жизнью:

В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни... [35. Т. 7. С. 188].

Казалось бы, как это далеко отстоит, и по стилистике, и по идеологии, от поэмы о мертвой жизни помещичьих усадеб и мертвых душах, ее населяющих, пропетой Гоголем (поэма «Мертвые души»). И все же – не так далеко, как хотелось бы. Ибо и там и здесь – поэма запустения и умирания, одновременно нелепая и высоко трагическая.

Почти нет усадеб, в которых бы не бытовала какая-либо страшная легенда, не существовало страшного, «фантастического» места, заставляющего даже наиболее рационального обитателя почувствовать присутствие чужого и чуждого в этом рукотворном Эдеме. Первоначально фольклорного происхождения так называемые страшные места, появляющиеся в усадьбах, в дальнейшем подпитывали и ли-

тературу. Причем трудно обнаружить, что здесь является первичным: архитектурное сооружение, породившее легенду, легенда, так или иначе соотносящаяся с историей усадьбы, или ее литературное отображение. К «страшным местам» принадлежат, как правило, подземные ходы (характерные для масонских усадеб), обрыв (берущий на себя литературно ту же функцию, что в готических романах пропасти и ущелья; именно на этом представлении и сюжетно, и топонимически построен одноименный роман И.А. Гончарова «Обрыв»), пруд, болото, холм, который нередко оказывается чьей-то могилой. Так, пруды, в особенности в масонских усадьбах, где им придавалась своеобразная форма и, соответственно символика (пруд «Всевидящее око» с шестиугольным островом «Звезда Давида» в одной из усадеб Костромской губернии, пруд в форме рыбы с раздвоенным хвостом и глазом-островом в имении Воскресенское, пруды в форме Северной и Южной Америки в усадьбе Алтун Псковской губернии), впоследствии становились источником страшных поверий и легенд. Фольклористы до сих пор записывают легенды о том, как Брюс, сподвижник Петра I, черно книжник и масон, в жаркий июльский день к ужасу гостей обратил пруд в своей усадьбе Глинки в каток и предложил кататься на коньках [36. С. 332]. Многочисленные легенды об утопленницах в пруду хотя и имеют в ряде случаев реальную основу, часто все же оказываются литературным порождением. Так, в Берново, имении, принадлежавшем друзьям Пушкина, на реке Тьма существовали два омута – и с каждым из них была связана страшная легенда: первая, на самом деле, восходила к драме Пушкина «Русалка», другая – к известной картине Левитана «У омута» [37. С. 169].

Если говорить о позитивной составляющей археологии страшного в русской усадьбе, то здесь в первую очередь надо назвать курганы, присутствующие в большинстве русских усадеб – те самые «могилы пращуров», которые до всякого зарождения сентиментализма и романтизма настраивают на созерцание бега времени, но которые заставили впоследствии многих помещиков заняться усадебной археологией. Такие курганы имелись почти повсюду: в Остафьево, имении Вяземских, в пушкинском Михайловском, где они использовались как горки, парнасы, дерновая скамья и даже грот [38. С. 249]. Неудивительно, что курганы, будучи для образованных зрителей предметом исторического интереса, навевали также атмосферу страха. Возможно

именно потому одна из наиболее часто бытующих легенд почти каждой усадьбы – легенда о чьей-то могиле (в подобного рода легендах речь часто идет либо об утопившейся крепостной девушке, или об убитом крестьянами барине). В имении Батюшкова Хантоново – таинственный огромный камень: «под ним барыня похоронена или золото зарыто, а по ночам огоньки горят» [39. С. 534]. В заброшенном и полуразрушенном доме Горенок, бывшей подмосковной усадьбе А.К. Разумовского, бродит по ночам какой-то граф, умерший нехорошей смертью [40. С. 6]. В Тургеневском Спасском-Лутовиново рассказывают «странные истории о прежнем барине Иване Ивановиче, о том, что он и теперь ходит по ночам на Варнавицкую плотину и ищет разрыв-траву, чтобы выбраться из могилы» [41. С. 9].

С этим связана еще одна особенность восприятия русской усадьбы, характерная, в частности, для демократической публицистики и особенно усилившаяся во второй половине XIX в. – прозревать сквозь видения рая творившиеся в усадьбе реальные ужасы. Публицист К. Макаров, посетивший Гростянец, имение И.М. Скоропадского, который по образцу парка Ротшильда в Ферьере применил метод искусственной обработки рельефов, писал:

Все здесь привлекало меня. Но когда я смотрел на ветви деревьев, которые качались от ветра, мне казалось, что рассекают воздух кнуты, которыми когда-то били тех, кто создавал этот живописный уголок [42. С. 488].

В усадебной литературе начала XX в. одна из настойчивых, почти навязчивых тем – огонь и пожар, рискующий уничтожить усадьбу. Другая – рубка сада. Причем и та и другая темы столь же исторически-жизненные, сколь и литературны. В начале века тема вырубленного сада ассоциируется с «Вишневым садом» Чехова. Впоследствии В.Г. Короленко осудил пьесу ее за ее пагубное мифотворчество:

«Вишнёвый сад» покойного Чехова вызвал уже целую литературу. На этот раз свою тоску он приурочил к старому мотиву – дворянской беспечности и дворянского разорения <...> И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять пригла-

шают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это прежнее запустение. Право, нам нужно экономить наши вздохи, господа! [43. С. 231].

Антитезу «Вишневному саду», причем не литературную, а именно в реальной жизни, настойчиво искали. Интересно свидетельство Ю. Бахрушина, описавшего Горенки – имение, некогда принадлежавшее гр. Разумовскому, а затем перешедшее во владение некоему предприимчивому купцу. Последний «быстро приладил дом под фабрику и начал в нем производить какие-то товары». Однако затем предприимчивый купец «не то умер, не то разорился, и Горенки были проданы другому купцу. Тот немедленно ликвидировал завод и начал бережно реставрировать дом. «Отец чрезвычайно интересовался реставрационными работами и жалел, что умер Антон Павлович Чехов и что нельзя показать ему антитезу его “Вишневого сада”» [9. С. 247].

И все же звук топора не покидает литературу начала века. Но здесь возникает новый вопрос: кто вырубает сад? По версии Чехова, Зайцева и других – «чужак», новый предприниматель, врывающийся в чужое пространство и осваивающий его на свой лад. Однако, например, И. Бунин описывает ситуацию несколько иную. Так, в рассказе «Последний день» (1913) вырубает дом и сад не новый купец, но сам помещик Воейков, не желающий ничего оставлять новому хозяину. И он сам разрушает дом, сдирает обои, ломает мебель, и – главное – велит повесить в саду оставшихся в живых, когда-то прославивших эту усадьбу борзых, превратив и дом, и сад в самом прямом смысле в царство смерти:

Все было кончено. Сев на табурет Воейков решил додумать последнее. <...> Снова и снова вспомнились деды и прадеды, жившие и умершие в этом доме, в этой усадьбе; вспомнились чуть ли не все имена борзых <...> Теперь захудалых, обезображенных голодом и старостью потомков их осталось всего шесть штук. Они скоро поколеют, конечно... Да, но не Гришке же Ростовцеву оставить их! [28. Т. 4. С. 71].

### **Элизий минувшего**

Смерть усадьбы, запустение, ее большой и малый апокалипсис на протяжении первой трети XX в. не только переживались, но и эсте-

тизировались. «Поэмой запустения» назовет И.А. Бунин мертвую усадьбу в рассказе «Золотое дно»:

Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! <...> А я медленно прохожу в большой гулкой зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг скрывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно <...> Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд [28. Т. 2. С. 281, 282].

Почти в то же время эстетизация смерти усадьбы проявляется и у художников «Мира искусства», у А. Бенуа, К. Сомова, М. Добужинского. Как писала критика, «на смене эпох, когда рухнул XIX век и для России кровавым заревом занялся XX, Константин Андреевич Сомов явился <...> служить странную панихиду об усопшем быте. Панихида эта порой походит на черную мессу <...> затаенного кошунства» [44]. В саму эмблему смерти превращает Андрей Белый в романе «Серебряный голубь» поместье Гуголево, населенное странно-призрачными персонажами: здесь и бабушка Тодрабе-Граабенов, старая баронесса, явно напоминающая пушкинскую пиковую даму, здесь же появляется и Кант – гениальный мертвец, и ласточка, определяющая Гуголево как царство смерти и т.д. [45. С. 49].

В еще одном рассказе И.А. Бунина «Несрочная весна» (1923) герой любит «зачарованным миром бывшей княжеской усадьбы» – усадьбы мертвой, «истинно бывшей, потому что из ее владельцев не осталось в живых ни единого...», и которая кажется ему в своей смерти «несказанно прекрасной». И здесь неожиданно смыкаются две темы: смерти и обретения Элизиума – обретения, возможного только через смерть. Ночи, проведенные в заброшенной усадьбе, окончательно уводят героя «в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители»:

Запустение, окружающее нас, неопишимо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме «Летийских теней» и той «несрочной весны», к которой так «убедительно» призывают они нас? И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души! [28. Т. 5. С. 128–129].

Так, в литературе после 1917 г., в бунинских «Темных аллеях», «Других берегах» Набокова, романах Б. Зайцева и Осоргина, усадьба обретает статус той виртуальной ценности, которая уже более не нуждается в реальной субстанции. В этой связи нельзя не вспомнить отзыв – как всегда парадоксальный и внутренне очень точный – Марины Цветаевой, уже из эмиграции, на книгу С. Волконского «Родина», посвященную его разрушенному имению Павловке:

Теперь скажу вещь, которая, как все простые вещи, прозвучит чудовищно: Революция, отняв у князя Волконского Павловку <...> – оказала ему услугу. Иногда освобождение приходит извне. В начале Революции было у меня такое шутовское изречение: «Крестьян в 1603 г. прикрепили к земле, дворян (в 1918) – к воздуху». Памятуя закон небесного тяготения, скажу, что такое прикрепление для кн. Волконского – не худшее. <...> Зачем такой совести – тяжесть, такому крылатому духу – прах? <...> У Волконского от Павловки осталась душа без тела (суть), у погромщиков тело без души (труп). И если кого-нибудь жалеть, то, конечно, не князя! [46. С. 167].

#### Литература

1. Трофимов А. (Трубников А.). От Императорского музея к Блошиному рынку. М.: Наше наследие, 1999. 192 с.
2. Нащокина М.В. Русская усадьба – временное и вечное // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Коло, 2003. Вып. 9 (25). С. 7–21.
3. Врангель Н.Н. Старые усадьбы. Очерки истории русской дворянской культуры. СПб.: Нева; Летний сад, 1999. 319 с.
4. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1974–1982.
5. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1977–1979.
6. Тихонов Ю.А. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII и XVIII веков. М.; СПб.: Летний сад, 2005. 448 с.
7. Карамзин Н.М. Сочинения: В 9 т. М.: Тип. А. Смирдина, 1835. Т. 8. 231 с.
8. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанная самим им для своих потомков 1738–1793 гг.: В 4 т. СПб.: Печатня В. Головина, 1907. Т. 2. 1120 стб.
9. Бахрушин Ю.А. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1994. 704 с.
10. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Правда, 1951. Т. 12. 461 с.
11. Перфильева Л.А. Архитектурные увражи Ж.Ф. Неффоржа и практика усадебного строительства в России второй половины XVIII в. // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 1998. Вып. 4 (20). С. 293–299.

12. *Каждан Т.П.* Художественный мир русской усадьбы. М.: Традиция, 1997. 320 с.
13. *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
14. *Беспрозванный В., Пермяков Е.* Из комментариев к первому тому «Мертвых душ» // Труды по русской и славянской филологии. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1997. Т. 2. С. 156–178.
15. *Нащокина М.В.* Русские усадьбы эпохи символизма // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 1998. Вып. 4 (20). С. 316–345.
16. *Савинова Е.Н.* Социальный феномен купеческой усадьбы // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2003. Вып. 9 (25). С. 123–132.
17. *Ленин В.И.* Доклад о революции 1905 года // Полное собрание сочинений: В 55 т. М.: Изд-во полит. лит., 1969. Т. 30. С. 306–328.
18. *Дягилев С.П.* В час итогов // Весы. 1905. № 4. С. 45–47.
19. *Иванов Д.Д.* Искусство в русской усадьбе // Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 1998. Вып. 4 (20). С. 180–198.
20. *Иванов М.В.* Спасение культурных ценностей Смоленских усадеб во время Гражданской войны // Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2000. Вып. 7 (23). С. 122–143.
21. *Богданова О.А.* Типология усадеб-музеев в русской литературе 1920-х годов. URL: <http://litusadba.imli.ru/event/vtoroe-vyezdnoe-meropriyatie-po-proektu-23-25-avgusta-2018-g-zaraysk-darovoe>
22. *Ананьева А.В., Веселова А.Ю.* Сады и тексты. Обзор новых исследований о садово-парковом искусстве в России // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 348–375.
23. *Топоров В.Н.* Петербург и «петербургский текст русской литературы»: Введение в тему // Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 259–367.
24. *Выжжевский С.В.* Золотой век на берегах Славянки (вместо предисловия) // Цветослов утешной столицы. Поэтическая история Павловска от дней его основания. СПб.: БИП, 1997. С. 3–14.
25. *Купцова О.Н.* «Красивый деспот» Н. Евреинова и пассаизм Серебряного века // Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М.: ОГИ, 2008. С. 298–310.
26. *Günter H.* Erotik in der Gartenkunst: Eine Kulturgeschichte der Liebesgärten. Leipzig, 1995. 247 s.
27. *Вольперт Л.И.* Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. М.: Языки славянской культуры, 1998. 329 с.
28. *Бунин И.А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1965–1967.
29. *Блок А.А.* Письма к жене. М.: Наука, 1978. 414 с. (Литературное наследство. Т. 89).

30. Орлов В. Гамаюн. Л.: Советский писатель, 1978. 709 с.
31. *Certeau M. de. La fable mystique: XVIe et XVIIe siècle. Paris: Gallimard, 1982. 399 s.*
32. *Panofsky E. Et in Arcadia ego. Poussin et la tradition élégiaque // L'oeuvre d'art et ses significations. Essais sur les arts visuels. Paris: Gallimard, 1969.*
33. Сабуров Я.И. Николай Иванович Кривцов. 1791–1843 // Русская старина. 1888. Кн. 12. С. 721–730.
34. *Греч А.Н. Венок усадьбам. М.: [б.и.], 1994. 196 с. (Памятники Отечества. Вып. 32. № 3–4).*
35. *Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968.*
36. Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV–XIX веков. М.: Московский рабочий, 1962. 582 с.
37. *Шармин П.Н. Берновские имения Вульфов в XVIII–XX вв. // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2000. Вып. 6 (22). С. 161–175.*
38. *Смирнова Т.П. Парк и пейзаж пушкинского Михайловского // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2000. Вып. 6 (22). С. 242–255.*
39. *Чусова В.Д. О судьбе усадьбы Батюшковых Хантоново // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2001. Вып. 7 (23). С. 529–537.*
40. *Шамурин Ю. Подмосковные. М.: Образование, 1912. 86 с.*
41. «Душа моя, все мысли мои в России...» И.С. Тургенев в Спасском-Лутовинове. Фотоальбом. М.: Планета, 1989. 256 с.
42. *Степанов К.Н., Степанов Н.К. Усадьба Тростянец Скоропадских // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.: Жираф, 2001. Вып. 7 (23). С. 484–491.*
43. *Сухих И. Струна звенит в тумане («Вишневый сад» А. Чехова) // Звезда. 1998. № 6. С. 230–238.*
44. *Дымов О.И. Сомов // Золотое руно. 1906. № 7–9. С. 151–153.*
45. *Резвых П.В. Реализация архетипа. Философская мистерия в романе А. Белого «Серебряный голубь» // Мировое древо – Arbor mundi. 2001. Вып. 8. С. 145–167.*
46. *Цветаева М. Кедр. Апология (О книге кн. С. Волконского «Родина») // Новый мир. 1991. № 7. С. 162–176.*

#### RUSSIAN COUNTRY ESTATE: SEMANTICS, TOPOS AND CHRONOS

*Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*, 2019, 11, pp. 140–173. DOI: 10.17223/24099554/11/6

*Ekaterina E. Dmitrieva*, Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Russian State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: katiadmitrieva@mail.ru

**Keywords:** country estate, country estate literature, idyll, aestheticization of death, death of estates, Bunin, Nabokov.

The research has been conducted at the Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences and supported by the Russian Science Foundation (RSF) Grant No. 18-18-00129 “Russian Estate in Literature and Culture: Russian and View.”

The paper draws on a wide variety of historical and literary sources to study the Russian estate as a vivid post-Peter cultural product, whose death in 1917 was perceived as an emblem of chaos and Scythian triumph. The estate is the most paradoxical space imaginable: a strange mixture of nature and artificiality, a cultural space in the natural landscape, Europe and Russia in one, an imitation of blissful islands and a keen awareness of their illusory nature. It is an idyllic place and an abode of death, where time seems to flow into eternity right before the contemplative eye. The real death of the estate, which occurred in 1917, was already prepared architecturally and literary by all the previous development of the estate culture. The idyllic place, *locus amoenus*, was originally full of fears and scary nooks. In this sense, Russian estates naturally fit into a common trend for European gardens: their *et in Arcadia ego* acquired the opposite meaning of death, which also visited Arcadia. Rethinking the Golden Age of the Russian estate, the author argues that as early as 1812 (the French army invasion followed by partial ruin of the Russian gentry homes) and especially after the 1861st Reform, the life on the Russian country estate begins to be perceived as dying, though with certain periods of renaissance. Paradoxically, these periods of revival coincide with the time when the society begins to sound especially plangent about the estate culture, as for instance, was in the early 1900s. The Russian estate culture was closely connected with literature: the real estate space gave rise to its special variety, known as the *estate text of Russian literature*, which in turn formed the estate life. One of its main constants is estate love, which is not surprising, since the garden has appeared as a space of love even in ancient times. In contrast to the Western literature tradition, Russian estate love, as reflected in literature, has a special speculation: the key events belong to consciousness, rather than to reality. The paper also focuses on the fate of estates after 1917 and their understanding in the new Soviet and émigré literature, where the death of the estate, with its large and small apocalypse, is not only experienced, but also evaluated. After 1917, I. Bunin’s *Dark Alleys*, V. Nabokov’s *Other Shores* as well as novels by B. Zaitsev and M. Osorgin provide the estate with the status of a virtual value that no longer needs real substance.

### References

1. Trofimov, A. (Trubnikov, A.) (1999) *Ot Imperatorskogo muzeya k Bloshinomu rynku* [From the Imperial Museum to the Flea Market]. Moscow: Nashe nasledie.
2. Nashchokina, M.V. (2003) *Russkaya usad’ba – vremennoe i vechnoe* [Russian estate – temporary and eternal]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad’ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad’by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian Estate]. Vol. 9(25). Moscow: Zhiraf. pp. 7–21.

3. Vrangel, N.N. (1999) *Starye usad'by. Ocherki istorii russkoy dvoryanskoy kul'tury* [Old estate. Essays on the History of Russian Noble Culture]. St. Petersburg: Neva; Letniy sad.
4. Chekhov, A.P. (1974–1982) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t.* [Complete Works and Letters: In 30 vols]. Moscow: Nauka.
5. Pushkin, A.S. (1977–1979) *Polnoe sobranie sochineniy: V 10 t.* [Complete Works: In 10 vols]. Leningrad: Nauka.
6. Tikhonov, Yu.A. (2005) *Dvoryanskaya usad'ba i krest'yanskiy dvor v Rossii XVII i XVIII vekov* [The nobility estate and peasant household in Russia of the 17th and 18th centuries]. Moscow; St. Petersburg: Letniy sad.
7. Karamzin, N.M. (1835) *Sochineniya: V 9 t.* [Works: In 9 vols]. Vol. 8. Moscow: A. Smirdin.
8. Bolotov, A.T. (1907) *Zhizn' i priklyucheniya Andreya Bolotova, opisannaya samim im dlya svokh potomkov 1738–1793 gg.: V 4 t.* [The life and adventures of Andrei Bolotov, described by himself for his descendants of 1738–1793: In 4 vols]. Vol. 2. St. Petersburg: V. Golovin.
9. Bakhrushin, Yu.A. (1994) *Vospominaniya* [Memories]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
10. Saltykov-Shchedrin, M.E. (1951) *Sobranie sochineniy: V 12 t.* [Collected Works: In 12 vols]. Vol. 12. Moscow: Pravda.
11. Perfilieva, L.A. (1998) Arkhitekturnye uvrazhi Zh.F. Nefforzha i praktika usad'bnogo stroitel'stva v Rossii vtoroy poloviny XVIII v. [Architectural deluxe editions by J.F. Neufforge and the practice of estate construction in Russia in the second half of the 18th century]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 4(20). Moscow: Zhiraf. pp. 293–299.
12. Kazhdan, T.P. (1997) *Khudozhestvennyy mir russkoy usad'by* [The Artistic World of the Russian Estate]. Moscow: Traditsiya.
13. Gogol, N.V. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy: V 14 t.* [Complete Works: In 14 vols]. Moscow; Leningrad: USS AS.
14. Besprozvanny, V. & Permyakov, E. (1997) Iz kommentariyev k pervomu tomu “Mertvykh dush” [From the comments to the first volume of “Dead souls”]. In: Kiseleva, L. (ed.) *Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii* [Works on Russian and Slavic Philology]. Vol. 2. Tartu: Tartu State University. pp. 156–178.
15. Nashchokina, M.V. (1998) Russkie usad'by epokhi simvolizma [Russian estates during the Symbolism]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 4(20). Moscow: Zhiraf. pp. 316–345.
16. Savinova, E.N. (2003) Sotsial'nyy fenomen kupecheskoy usad'by []. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 9(25). Moscow: Zhiraf. pp. 123–132.

17. Lenin, V.I. (1969) *Polnoe sobranie sochineniy: V 55 t.* [Complete Works: In 55 vols]. Vol. 30. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury. pp. 306–328.
18. Dyagilev, S.P. (1905) V chas itogov [Summing up the results]. *Vesy.* 4. pp. 45–47.
19. Ivanov, D.D. (1998) Iskusstvo v russkoy usad'be [The art in the Russian estate]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 4(20). Moscow: Zhiraf. pp. 180–198.
20. Ivanov, M.V. (2000) Spaseniye kul'turnykh tsennostey Smolenskikh usadeb vo vremya Grazhdanskoj vojny [Saving the cultural values of Smolensk estates during the Civil War]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 7(23). Moscow: Zhiraf. pp. 122–143.
21. Bogdanova, O.A. (2018) *Tipologiya usadeb-muzeev v russkoy literature 1920-kh godov* [Typology of estate museums in Russian literature of the 1920s]. [Online] Available from: <http://litusadba.imli.ru/event/vtoroe-vyezdnoe-meropriyatie-po-proektu-23-25-avgusta-2018-g-zaraysk-darovoe>.
22. Ananieva, A.V. & Veselova, A.Yu. (2005) Sady i teksty. Obzor novykh issledovaniy o sadovo-parkovom iskusstve v Rossii [Gardens and texts. Overview of new research on landscape art in Russia]. *Novoe literaturnoe obozrenie.* 75. pp. 348–375.
23. Toporov, V.N. (1995) *Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo: Izbrannoe* [Myth. Ritual. Symbol. Image: Research in Mythopoeitics: Selected Works]. Moscow: Progress-Kul'tura. pp. 259–367.
24. Vyzhevskiy, S.V. (ed.) (1997) *Tsvetoslov uteshnoy stolitsy. Poeticheskaya istoriya Pavlovskaya ot dney ego osnovaniya* [The Anthology of Consoling Capital. The poetic history of Pavlovsk from the days of its foundation]. St. Petersburg: BIP. pp. 3–14.
25. Kuptsova, O.N. (2008) “Krasivyy despot” N. Evreinova i passeizm Serebryanogo veka [“Beautiful Despot” by N. Evreinov and the Silver Age Passeism]. In: Dmitrieva, E.E. & Kuptsova, O.N. (2008) *Zhizn' usadebnogo mifa: utrachennyy i obretennyy ray* [The Life of the Estate Myth: the Lost and Found Paradise]. Moscow: OGI. pp. 298–310.
26. Günter, H. (1995) *Erotik in der Gartenkunst: Eine Kulturgeschichte der Liebesgärten.* Leipzig: Edition Leipzig.
27. Volpert, L.I. (1998) *Pushkin v roli Pushkina. Tvorcheskaya igra po modelyam frantsuzskoy literatury* [Pushkin in the role of Pushkin. Creative game based on French literature models]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
28. Bunin, I.A. (1965–1967) *Sobranie sochineniy: V 9 t.* [Collected Works: In 9 vols]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
29. Blok, A.A. (1978) *Pis'ma k zhene* [Letters to Wife]. Moscow: Nauka.
30. Orlov, V. (1978) *Gamayun* [Gamayun]. Leningrad: Sovetskii pisatel'.
31. Certeau, M. de. (1982) *La fable mystique: XVIe et XVIIe siècle.* Paris: Gallimard.
32. Panofsky, E. (1969) *L'oeuvre d'art et ses significations. Essais sur les arts visuels.* Paris: Gallimard.

33. Saburov, Ya.I. (1888) Nikolay Ivanovich Krivtsov. 1791–1843 [Nikolai Ivanovich Krivtsov. 1791–1843]. *Russkaya starina*. 12. pp. 721–730.
34. Grech, A.N. (1994) *Venok usad'bam* [Wreath to Homesteads]. Moscow: [s.n.].
35. Turgenev, I.S. (1960–1968) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 28 t.* [Complete Works and Letters: In 28 vols]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
36. Veselovskiy, S., Snigerev, V. & Korobkov, N. (1962) *Podmoskov'e. Pamyatnye mesta v istorii russkoy kul'tury XIV–XIX vekov* [Moscow region. Memorable places in the history of Russian culture of the 14th – 19th centuries]. Moscow: Moskovskiy rabochiy.
37. Sharmin, P.N. (2000) Bernovskie imeniya Vul'fov v XVIII–XX vv. [The Wulffs's estates in Bernovo in the 18th – 20th centuries]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 6(22). Moscow: Zhiraf. pp. 161–175.
38. Smirnova, T.P. (2000) Park i peyzazh pushkinskogo Mikhaylovskogo [Park and landscape of the Pushkin Mikhailovskoe]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 6(22). Moscow: Zhiraf. pp. 242–255.
39. Chusova, V.D. (2001) O sud'be usad'by Batyushkovykh Khantonovo [On the fate of the Batiushkovs' Khantonovo estate]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 7(23). Moscow: Zhiraf. pp. 529–537.
40. Shamurin, Yu. (1912) *Podmoskovnye* [Near Moscow]. Moscow: Obrazovanie.
41. Bogdanov, B. (1989) “*Dusha moya, vse mysli moi v Rossii...*”. I.S. Turgenev v Spasskom-Lutovinove. *Fotoal'bom* [“My soul, all my thoughts are in Russia . . .” I.S. Turgenev in Spasskoe-Lutovinovo. The photo album]. Moscow: Planeta.
42. Stepanov, K.N. & Stepanov, N.K. (2001) Usad'ba Trostyanets Skoropadskikh [The Skoropadskikh's Trostyanets estate]. In: Nashchokina, M.V. (ed.) *Russkaya usad'ba. Sbornik obshchestva izucheniya russkoy usad'by* [Russian estate. Collection of the Society for the Study of Russian estate]. Vol. 7(23). Moscow: Zhiraf. pp. 484–491.
43. Sukhikh, I. (1998) Struna zvenit v tumane (“Vishnevyy sad” A. Chekhova) [A string rings in the fog (“The Cherry Orchard” by A. Chekhov)]. *Zvezda*. 6. pp. 230–238.
44. Dymov, O.I. (1906) Somov [Somov]. *Zolotoe runo*. 7–9. pp. 151–153.
45. Rezvykh, P.V. (2001) Realizatsiya arkhetaipa. Filosofskaya misteriya v romane A. Belogo “Serebryanyy golub” [The implementation of the archetype. Philosophical mystery in A. Belyy's “Silver Dove”]. *Mirovoe drevo – Arbor mundi*. 8. pp. 145–167.
46. Tsvetaeva, M. (1991) Kedr. Apologiya (O knige kn. S. Volkonskogo “Rodina”) [Cedar. Apology (On the book of Prince S. Volkonsky “Motherland”)]. *Novyy mir*. 7. pp. 162–176.